

Я хорошо помню звук моторной лодки и тишину, когда отец остановил ее.

Тишина звучала как плеск волн и вечно над кем-то хохочущие чайки, как ветер и шумное дыхание отца.

Мы остановились на середине водохранилища. И я даже представить не могу, как высоко мы забрались. Высоко по сравнению с тем, что там, внизу.

Мне семь лет, и я не вижу особой разницы между глубиной и высотой. Сестре — двенадцать, и я замечаю в ее глазах что-то похожее на страх.

Отец забрал нас из школьного летнего лагеря пораньше. Сказал, что мы поедem на водохранилище купаться и смотреть на чаек.

— А мама? — спросила сестра.

— А мама еще на работе, — ответил отец.

— Мама говорила, чтобы мы без нее не купались.

— Да мало ли что она говорит, — отец ухмыльнулся. — Не хочешь купаться? Ты тоже не хочешь? — Он ткнул в мою сторону пальцем, как будто прицеливался.

— Хочу, — быстро ответила я.

— А вот сестра твоя, похоже, собирается сидеть дома.

— Да не собираюсь я, просто...

— Просто — на носу короста. — Отец щелкнул сестру по носу и засмеялся. — Пошли.

Сначала мы едем на автобусе, который долго ползет в гору в сторону заросших малиной дач, потом идем пешком до пристани, где стоят лодки. Я очень хочу есть, но молчу, потому что отец никогда еще не брал нас кататься на лодке без мамы и я не хочу все испортить. Мне кажется, что нас ждет настоящее приключение.

— Сегодня покажу вам, откуда я родом, — говорит отец, снимая брезент с лодки.

— Но ведь папину деревню затопило, как мы сможем ее увидеть? — шепотом спрашиваю я у сестры.

— Затопило, — тихо отвечает она и берет меня за руку.

Мы слышали эту историю много раз. Отец любил рассказывать, как во время строительства Красноярской ГЭС пришлось затопить больше ста поселков и деревень, в том числе и его родной Езагаш.

«Езагаш-ш-ш-ш», — шуршит у меня в ушах чей-то голос. Мне кажется, там жили ящерицы.

И мы с сестрой, как две юркие ящерицы, гремся на солнце, сидя на носу лодки, пока отец направляет ее вперед, в переливающуюся синезеленую воду.

Украдкой поглядываю на отца. Чем дальше уходит берег, тем мрачнее становится его лицо. Я знаю это его лицо, оно как погода, когда темная туча наползает на солнце и какое-то время солнце подсвечивает ее край, будто говорит: я все еще здесь. Пока солнце еще здесь, можно попросить у отца посмотреть телевизор или деньги на мороженое — или просто побыть с ним в одной комнате. Но когда край облака перестает светиться — лучше убраться куда-нибудь подальше.

Я смотрю на отца. Он уже не здесь.

Он останавливает лодку, и мы долго молчим. Сестра смотрит в сторону далекого берега, а я опускаю руки в воду и шевелю пальцами, здороваясь с подводными жителями.

— А знаете, что там на дне?

— Ящерицы? — с надеждой спрашиваю я.

— Нет, — отец кривит рот, — там бабка ваша, и дед, и брат мой дядя Саша. Там — дом.

— Наш дом — на улице Чкалова, у горы, — важно говорю я.

Лицо отца совсем портится, и он смотрит на меня слишком пристально.

— Дом — не там, где ты живешь, а там, где родился.

Когда отец говорит таким голосом — тихим, но очень громким, — с ним лучше не спорить. Я думаю о том, могли ли мы с сестрой родиться на дне водохранилища, а не в Дивногорском

роддоме. Может быть, под водой тоже был свой роддом.

— Ведь, как говорится, где родился, там и пригодился, — продолжил отец. — Но вам-то откуда знать, вы же дома своего даже не видели.

Я снова собираюсь напомнить отцу, что наш дом находится на улице Чкалова, но сестра замечает это и больно щиплет меня за руку. Мне хочется пискнуть, но я молчу: мы с сестрой никогда не выдаем друг друга.

— Все беды начинаются, когда человек дом свой теряет. А другого ему уже не найти, потому что другого быть не может.

Я молчу под предостерегающим взглядом сестры. Отец часто говорит такое, от чего делается непонятно и плохо. Будто у меня пытаются забрать что-то, но я не понимаю, что именно.

— Плавать будете? — неожиданно спрашивает отец.

— Да, — отвечаю я.

— Нет, — говорит сестра.

— А чего нет-то? — злится отец и начинает раскачивать лодку.

Я смеюсь и визжу, ведь самое страшное, что может случиться, — то, что вода окажется холодной.

— Сейчас мы все тут поплаваем! — Отец почему-то не смеется.

— Папа, не надо! Перестань! — просит сестра, и я не могу понять, почему она плачет.

НЕТ ТАКОЙ РЕКИ

Сестра говорит, чтобы я срочно прилетала. Сестра говорит, что у отца инфаркт.

Я спрашиваю, что сестра имеет в виду.

Сестра интересуется, не отупела ли я, часом, в своем Петербурге.

Я говорю, что не отупела, но инфаркт — это не всегда смерть, поэтому я хотела бы уточнить один момент.

Сестре неясно, что за момент я хочу уточнить. Я не выдерживаю и спрашиваю прямо: он умер или что?

Сестра говорит сначала: «Или то», а потом: «Да, умер».

Я спрашиваю, когда похороны. Сестра говорит — в понедельник и что я должна прилететь.

Я говорю, что у меня аэрофобия. Сестра говорит, что я эгоистка.

Раздумываю, открываю «Авиасейлс», смотрю цены на сегодняшний вечер, они высокие. Денег мне не жалко, мне жалко себя. Пять часов нескончаемого ужаса из Петербурга до Красноярска, и я — у гроба обожаемого батеньки. Ирония в том, что после такого перелета я буду еще мертвее, чем он.

Закрываю вкладку. Если не думать про обвинения сестры, то мне даже не надо класть на чаши воображаемых весов свою аэрофобию и любовь к отцу.

Поеду на поезде.

Покупаю билет до Москвы, потому что из Петербурга до Красноярска прямых поездов нет. Странный город Петербург, и странно, что я в нем все-таки оказалась: всегда недолюбливала большую воду и вот — живу почти у самого моря. Когда вернусь, надо будет переехать.

Моя дорога домой растянется почти на три дня, и мне трудно в это поверить, ведь на другой конец света я могу улететь за каких-нибудь двенадцать часов, то есть могла раньше, сейчас уже не могу.

Санкт-Петербург Главный — Москва Октябрьская — Красноярск-Пасс. — так выглядит мой путь домой. Для меня не существует чудесных сапог, которые сразу перенесут за тридевять земель, придется измерять дорогу в обычных километрах, вокзалах и пачках лапши «Доширак».

Удивительно, что поезда дальнего следования еще не исчезли, мало кто сейчас может позволить себе проводить столько времени в пути. Полтора-два века назад у людей было как будто больше времени. Они могли неделями кататься туда-сюда, и никто бы им ничего не сказал. Мне тоже никто ничего не скажет, кроме сестры.

Для нас с ней время идет по-разному: для нее очень быстро, а для меня — медленно и как-то не так, как должно идти для выросшего во взрослого человека. Каждый встреченный мною взрослый просто обязан искать в сутках двадцать

пятый час и вздыхать, что всего не успеть. Такое время бежит быстро, дробится на отрезки, разделяется со множеством других людей, подпитывается их временем и ускоряется до такой степени, что теряется из виду.

«Не понимаю, куда делось время», — всю жизнь повторяла мать.

«У меня нет лишнего времени», — часто говорила сестра.

«Времени мало, но я все вроде успеваю», — радовалась подруга в нашей последней переписке.

Я никогда не слышала, чтобы кто-то вдруг сказал: «А прикиньте, у меня много времени! Настолько много, что иногда я даже не знаю, что с ним делать».

Заявить такое как будто стыдно. Если у тебя много времени, то что-то с тобой определенно не так. Скорее всего, ты ленивый, у тебя нет работы, ты эгоистичный и, возможно, просто тупой. А еще — одинокий. И это даже хуже, чем тупой.

Времени должно быть много только у детей и стариков, у стариков, правда, с некоторыми оговорками, но все же. Я не ребенок и не старуха, но у меня времени тоже почему-то много. Наверно, потому что я эгоистичная (как говорит сестра) и одинокая (как говорю я сама).

Свое время я чувствую очень медленным, буквально замершим в ожидании чего-то. И когда

что-то происходит (неважно, плохое или хорошее) — переезд, влюбленность, разрыв отношений, смерть близкого, — я чувствую себя так, будто давно прожила этот опыт и время, отпущенное на него. Будто чувства по поводу события возникли раньше, чем оно само появилось в моей жизни. Поэтому, когда что-то все-таки случается, я цепенею и не чувствую ни грусти, ни радости — только то, как бесконечно тянется опустевшее, обесмысленное время.

Я всегда словно иду под водой, шаги замедлены ее толщей, и я могу разглядеть каждый миллиметр этого странного тягучего движения, но не могу понять, где и когда оно началось.

Я проживала отъезд из дома задолго до того, как по-настоящему его покинула, да и отца я уже успела похоронить, так что сказать, что у меня не было времени попрощаться с ним, никак не получится, ведь наше прощание началось много лет назад.

Моя дорога займет почти три дня, и, думая о ней, я почему-то представляю все крупные российские реки. Наверное, потому, что смерть — это все-таки событие исключительное, и путь по реке кажется мне более подходящим к случаю, скорбным и величественным. Путешествие по железной дороге — напротив, шумным, грязным, суетным и обыденным.

К сожалению, Обь, Енисей и Лена пересекают страну с юга на север, а не с запада на восток,

так что добраться по ним до дома у меня никак не получится.

Отца похоронят через два дня, и на похороны я не успею, но единственное, о чем я жалею, — что нет такой реки, по которой можно было бы проделать весь этот путь.

ДИВНОГОРСК

Мне нужно добраться до Красноярска, но вообще — мне не туда. Мой путь дальше — вверх по течению Енисея, туда, где на горло реки опустилась ГЭС, в маленький город Дивногорск.

Дивногорск вообще не появился бы в этом месте, если бы не плотина. Чтобы ее построить, нужны были люди обязательно молодые и сильные — со сверкающими энтузиазмом глазами. Еще нужны были дух романтизма и авантюризма и песни под гитару — так, по крайней мере, рассказывали нам в школе. Ну или почти так.

Еще были палатки, танцы у костра и трудное укрощение взбеленившегося Енисея. После таких историй на классном часе я обычно проникалась тайной ненавистью к молодым, пышущим здоровьем комсомольцам и их придурочным танцам и жалела реку.

Енисей в моей жалости не нуждался. Пробравшись через плотину, он тек себе спокойно дальше, вот только больше не замерзал. Лет до двенадцати меня очень занимал этот факт — ведь все реки должны впадать в спячку зимой, а весной, отоспавшись, двигаться дальше. Енисей не спал никогда, зимой он исходил злобным паром, жители Дивногорска и Красноярска жаловались на чудовищную влажность, а мне казалось, что в это время к нему лучше не приближаться.

Зимой я старалась совсем не ходить на Набережную, чтобы не дышать Енисеевой злостью.

Мне всегда сложно было представить расстояние, поэтому, чтобы понять, на берегу какой огромной реки я живу, я вспоминала, что в верховьях Енисея обитают верблюды, а в низовьях — белые медведи. Я измеряю Енисей верблюдами и медведями, а они пьют воду из одной и той же реки, на берегу которой стоит Дивногорск.

Если ты не родился в Дивногорске, то, скорее всего, ты в нем никогда не окажешься. Аэропорта здесь нет, и даже на поезде между делом его не проедешь. Дивногорск — это железнодорожный тупик, дальше рельсы не ведут никуда. Просто маленький город с красивым названием, зажатый между холодной рекой и горами где-то в Сибири, и посторонним о нем знать совсем не обязательно. Город, про который я не могу сказать ничего, что обычно говорят про провинциальные города.

ГЭС, из-за которой Дивногорск появился, называется Красноярской, а Дивногорск как будто вообще ни при чем. Одиннадцать лет назад ГЭС, а значит, и хоть какой-то намек на существование города можно было увидеть на бумажной десятирублевой купюре. Потом их вдруг перестали печатать и вместо них появились монеты уже безо всяких намеков. Вместе с бумажными десятками Дивногорск исчез из карманов людей

и заодно с карты зауральской России, как будто сказал: посмотрели — ну и хватит, до встречи лет через пятьдесят. Город скрылся, как те города, которые раз в сто лет появляются со дна какого-нибудь озера на одну ночь, а потом снова исчезают.

Местным выбраться оттуда по своим делам ничего не стоит, но вот если ты не местный, то сиди и жди, когда город снова вынырнет, и на входе десятку не забудь показать.

Что-то мне подсказывало, что местной я уже давно не считаюсь, а значит, придется как-то выкручиваться.

Я не была в Дивногорске больше пяти лет, хотя мне хотелось ездить туда каждое лето. Но воспоминания о том, как плохо заканчивался каждый мой приезд, заставляли покупать билет в какое-нибудь другое место. Город будто выталкивал меня каждый раз, когда я пыталась в него влезть и снова сойти за местную. Он показывал свое отношение отвратительной погодой, странными тяжелыми простудами, ссорами с родственниками и возвращением депрессии, с которой я давно вроде бы справилась. Казалось, нужен какой-то особый повод, чтобы город снова появился из воды и впустил меня, и вот наконец я получила персональное приглашение. Я порылась в папке с документами и непонятного назначения бумажками и нашла там помятую, но сохраненную старую десятку с изображением ГЭС.

«Теперь у меня есть не только приглашение, но и пропуск», — подумала я.

Переезжая в Красноярск, Москву, Сочи, Петербург, я всегда с удовольствием говорила, что родилась в Дивногорске, это звучало явно лучше, чем если бы я родилась в Череповце или Кургане. Меня часто спрашивали, действительно ли там дивные горы, и я говорила «да». Мне кажется, это было мое самое уверенное «да» в жизни, ведь я смотрела на эти горы из окна почти каждый день восемнадцать лет, подмечая малейшие изменения в их облике и настроении. Я видела крутые склоны, поросшие деревьями, и острые выступы скал, похожие на застывшие лица великанов. Видела, как горы наряжаются к осени и как становятся хмурыми и серыми, а потом вдруг одним позднеосенним утром ослепляют тебя своей торжественной белизной и как будто становятся ближе, заглядывая в самое окно.

Но больше всего в этих горах я любила их независимость — они никогда не отражали моего настроения, даже и не пытались.

Осенью, когда я не знала, куда деться от надвигающейся депрессии, горы выглядели яркими, причесанными и абсолютно довольными жизнью. И сколько бы я ни смотрела на них своими мрачными глазами, они не становились мрачнее. Они жили своей, совершенно отдельной от меня жизнью, и то, что у гор своя жизнь, меня почему-то воодушевляло.

Но не все были готовы мириться с тем, что у всего вокруг есть личная жизнь. Одним из таких людей был мой отец. Он, как и я, часто смотрел на горы, но смотреть ему было мало, ему нужно было обязательно оставить на них свой след.

Каждый год он переплывал Енисей на надувной лодке, лез на самую заметную из окна скалу и устанавливал на ее вершине красный флаг с серпом и молотом. Когда дул ветер, флаг развевался и его было видно из нашей квартиры, но я не любила, когда он попадался мне на глаза.

Иногда флаг исчезал, а на его месте появлялся другой — бело-сине-красный, тогда отец матерился и собирался во внеочередное путешествие на другую сторону Енисея. Там он уничтожал полосатый флаг и снова устанавливал красный. Эта битва флагов длилась годами.

Все это время я ждала, что горы наконец разозлятся и скинут со своего тела и тех и других, но, как я уже говорила, горы живут сами по себе и не исполняют ничьих желаний.